

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

1



1991



SHOUT
SHARE

IT

Annotation

Рецензия на издание двух томов воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам стала преимущественно исследованием ее личности, литературного дара и места в русской литературе XX века.

«Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден...»

- [С. Аверинцев](#)



- [notes](#)



1

С. Аверинцев

«Были очи острее точимой косы...»

Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. Текст подготовил Ю. Л. Фрейдин. Послесловие Н. В. Панченко. Автор примечаний А. А. Морозов. М. «Книга». 1989. 479 стр.

Надежда Мандельштам. Вторая книга. Подготовка текста, предисловие, примечания М. К. Поливанова. М. «Московский рабочий». 1990. 560 стр.

Десять лет прошло, а невозможно ни пройти, ни проехать по Большой Черемушкинской без укола в сердце: там, в доме № 14, в первом корпусе, за окнами нижнего этажа, повернутыми прямо к громыхающей трамвайной линии, *ее* уже нет. Никогда не придется позвонить в дверь 4-й квартиры — по ненарушимому уговору два раза, чтобы заверить хозяйку: это не *те* пришли за ней, это кто-то свой. Не увидеть, как она незабываемым движением многожды травленного, чуть одичалого, но сохранившего в себе очень много жизни существа отпирает дверь и остро тебя оглядывает, снимая цепочку... Не сидеть с ней рядом на кухне, как тогда, в начале 70-х, когда после выхода в свет за границей первой книга у нее были серьезные основания ждать гостей дорогах, только, по счастью, не всю ночь напролет, она заметно успокаивалась каждый раз после девяти вечера — как-никак не сталинское время, ночные аресты вышли из моды, после двадцати одного ноль-ноль вроде бы не приходят, на сегодня пронесло... Не видеть ее глаз с какой-то особенной радужкой, тех самых, вошедших в бессмертное воронежское стихотворение про зрачок в небесной корке: «Омут ока удивленный...» Не слышать ее глуховатого, низкого голоса, ее выразительных интонаций.

Где ее голос продолжает звучать, так это в ее книгах. Там он сохранен надежнее, чем осанка и повадка на фотографиях. Подчеркиваю, это не утешительное общее место, какое можно было бы отнести без разбора к любому покойному автору, обладавшему достаточно характерным стилем. У Надежды Яковлевны была редкая способность, куда более редкая, чем литературное дарование само по себе: она писала как говорила, без видимого миру усилия переноса на бумагу устную интонацию. Это может показаться самым легким, а на деле труднее всего. Кто хочет, пусть попробует. Михаил Поливанов в

своем предисловии очень удачно характеризует «Вторую книгу» в жанровом отношении как *table talks*, собрание застольных разговоров. Свидетели не дадут соврать: чуть не каждое слово рождавшихся книг проговаривалось живым голосом, проверялось то на одном, то на другом собеседнике. Магнитофону было бы не под силу увековечить монолога на черемушкинской кухне точнее — разве только дословнее. В книгах сохранен, кажется, самый воздух, в который падали слова. Такая безыскусность со времен античных риторов почиталась за вершину искусства.

Иосиф Бродский совершенно прав, когда в эссе-некрологе говорит о Надежде Мандельштам не просто как о мемуаристе, но как о виднейшем русском прозаике своего времени. Власть над словом либо есть, либо ее нет, и тогда ее не заменят ни добрые намерения, ни прекрасные порывы. Но вот что примечательно: насколько здесь власть эта была дана для исполнения **определенного дела**. Насколько она была обусловлена тем, что человеку **было что сказать**. Тем, что сказать это было смертельно необходимо.

Надежда Яковлевна не любила слова «мастерство», скомпрометированного для нее специфически советскими коннотациями: будто имеются какие-то технические секреты «мастеров слова», которыми возможно овладевать в литинститутах, что вроде бы компенсирует разрыв с культурной и нравственной традицией человечества. Но и безотносительно к этим коннотациям язык не поворачивается усматривать у нее «мастерство». Несравненную естественность своего слога она не могла приказать себе воспроизвести, как воспроизводится прием. Помню, она среди самого расцвета своего литературного дара пробовала переводить с английского книгу о молитве проживающего в Лондоне владыки Антония Блума; так ведь пришлось отступить, до того неумелым неожиданно получался перевод. Надежда Яковлевна не могла применять свой дар, пускать его в ход хотя бы для самой благой цели. Она могла говорить только своим голосом — и только о своем. В «Тарусских страницах» на рубеже 60-х под прозрачным псевдонимом Н. Яковлева были напечатаны ее очерки — конечно, это еще не она. Затем она решилась, отбросив последнюю оглядку не то что на возможность напечататься в советском издательстве, а на какие-либо резоны самосохранения — напомним, что в 1966-м газеты были полны делом Синявского и Даниэля! — начать рассказывать о самом для себя главном: о судьбе Осипа Мандельштама и через нее — о судьбе страны. И тогда огонь зажегся и стал разгораться. Теперь она была гениальной. Ни этому огню, ни силам жизни в ее теле не мог прийти конец, пока обе книги не были написаны. Они

стоят под знаком необходимости. После оставалось время для опытов, объединенных Н. А. Струве под заглавием «Третья книга»; опыты эти в разной мере интересны, однако огонь в них ощутимо угасает — как кажется, не только в связи с естественным упадком сил, но прежде всего потому, что необходимое жизненное дело было уже завершено.

Все «литературное» в обеих книгах очень жестко подчинено внелитературной задаче: нечто сообщить читателю, в чем-то убедить его. Сколь бы ни был прав Бродский, когда он описывает прозу Надежды Мандельштам как единственно наличное на тот момент средство для языка как такового избежать застоя, концентрировать внимание на внутрилитературных аспектах дела легче с достаточной географической дистанции. Внутри русской жизни, хорошо это или плохо, действует моральное принуждение, заставляющее поспешно переводить разговор с вопросов литературного языка на совсем иные материи. Что, собственно, она нам рассказала? В чем пыталась нас убедить? Что сделала с нами?

Впрямую стоит вопрос о смысле. Как нам сегодня — через десять лет после кончины Надежды Яковлевны, через двадцатилетие после написания второй книги и более чем через четверть века после рождения первой — оценить дело ее жизни? Ответы на этот вопрос тяготеют к крайностям. Мне еще придется говорить об обидах, вызванных ее книгами, о тяжбах, которые ведутся из-за оценки конкретных лиц и событий. Значительно более странно, чем самую яростную обиду, встречать взгляд сверху вниз. Тут мне придется возражать людям, которых я искренно уважаю, но нельзя же так: Анатолий Найман скажет, Наталья Горбаневская в рецензии разовьет тему — и черта всем тоном подведена, вопрос исчерпан, отныне остается принять к сведению эту эпиграмму в прозе. И прежде всего для меня непонятно обвинение в том, что Надежда Яковлевна под конец жизни самоутверждалась, брала поздний реванш и тому подобное — не только за счет Ахматовой, но и за счет своего мужа. Будто бы отношение к обоим великим современникам пришло к симметрии, подлежит описанию в одних и тех же «терминах». Начать с того, что симметрии здесь не найдешь: скорее уж Ахматова была отчасти принесена в жертву единственности Осипа Эмилевича, что было бы непохвально со стороны беспристрастного летописца, но более нежели понятно со стороны «нищенки-подруги». Однако ни в книгах, настойчиво подчеркивающих по всякому поводу и даже без повода культурное, умственное и нравственное превосходство Мандельштама над взятой им в свою жизнь девочкой из

богемного киевского «табунка», ни в тех разговорах, которым я был свидетелем и участником, я не находил и не нахожу никаких грехов перед памятью мужа: не только предполагаемого смыслом слов Н. Горбаневской его принижения ради своей вящей славы, но и другой, более невинной слабости, часто встречающейся у самых верных вдов, детей и друзей прославленных покойников, — навязчивой тепловатой фамильярности, убивающей чувство дистанции. Когда она говорила «Оська», это звучало не фамильярно, а скорее ритуально. В ней чувствовался спасительный страх перед тем, чтобы выграться в его роль, заговорить его голосом. Как-то я попросил ее прочитать что-нибудь из Мандельштама, причем имел неразумие объяснить, что надеюсь расслышать сквозь ее чтение его интонации. Она вроде бы согласилась, напряглась, открыла рот, но сейчас же закрыла и нахмурилась, повторила все эти действия еще два или три раза, хмурясь все больше, а под конец сказала: «Не могу. Оська говорит: цыц!» Существо дела, то есть отказ от самоидентификации, от того, чтобы из лучших побуждений перепутать себя с ним, здесь важнее, чем несколько стилизованная интонация испуганной жениной покорности... Перед другими — иной разговор; но я решительно не вижу, в чем бы это она была небезупречна перед его, как прежде сказали бы, тенью.

И одно дело — спорить с Надеждой Яковлевной, совсем другое — разделяться с ней небрежным пожатием плеч. Сказанное не означает, что мне симпатична идея приписывать ей, человеку донельзя страстному и пристрастному, некую непогрешимость мнений и суждений. Боже избави! Есть не одна, а минимум две веские причины воздержаться от того, чтобы делать из нее икону. Во-первых, нехорошо погрешать против истины; во-вторых, если мы любим человека и чтим его память, мы должны пуще всего бояться возбудить против него иконоборческие аффекты соотечественников и современников. Дела не сведешь к вульгарной зависти — просто по законам естества эмоциональный нажим провоцирует ответную реакцию. С этой точки зрения меня многое смущает в послесловии Николая Панченко к книге «Воспоминания». Ему я готов низко поклониться за то, как он написал о похоронах Надежды Яковлевны, это дорогого стоит, ничего не скажешь. Но мне непонятны, например, его претензии к Михаилу Поливанову — не возражения, а именно укоризны. Я не вижу, почему признание великой заслуги Надежды Мандельштам, сохранившей, по выражению Н. Панченко, «наши мозги от помешательств века», логически или хотя бы морально дезавуирует поливановскую

констатацию: «но друзья ей очень многое прощали»? Нам есть что прощать не только тем, кто меньше нас, но и тем, кто заведомо больше и кому мы по гроб жизни обязаны. Что до величия, оно определяет, по самому смыслу слова, *масштаб*, а не совершенство. И ведь тут есть еще один нюанс. Вся интонация Панченко принуждает читателя под страхом морального остракизма принять не одну, а две различные презумпции: добро бы еще всегдашней правоты Надежды Яковлевны — но ведь наряду с этим безусловной, безнадежной и возмутительной неправоты всех несогласных. Последним отказано в возможности иметь не только свою частную правду, пусть низшего ранга, но хотя бы не совсем постыдные мотивы для заблуждения: например, искреннюю привязанность к памяти некоторых современников. С этим согласиться куда труднее, чем с самой высокой оценкой жизненного дела покойной в целом. Именно в целом, а не в деталях. Детали могут требовать существенной корректировки, и это отнюдь не противоречит величию целого.

Вообще говоря, человек несравнимо более правомочен выносить приговор своему времени со всеми его «измами», тенденциями, умонастроениями, со всеми его наиболее общими чертами, нежели другому человеку. Собственно, этому учит христианство, которое Надежда Яковлевна исповедовала. Но наряду с духовным и моральным аспектами здесь есть и чисто познавательный аспект. Еще Аристотель говорил, что настоящий предмет точного знания — это общее. Описать с безупречной верностью некоторую моральную ситуацию, некоторую духовную ловушку, некоторую психологическую атмосферу вообще — трудно, но вполне мыслимо. Пусть, однако, два человека попробуют с полной добросовестностью воссоздать сценку, разыгравшуюся между ними сутки тому назад, — и мы получим рассказ о двух разных сценках.

Самому зоркому случается недосмотреть, самому пристальному — недослышать, самому пронизательному — понять превратно. Это трюизм, касающийся условий человеческого существования в любое время, в любой стране, в любом обществе. Когда, однако, абсолютно реальные причины побуждают, более того, принуждают не верить ничему, кроме собственных глаз и собственных ушей, когда немыслима спокойная перепроверка фактов, выводов и оценок в неторопливых, непринужденных разговорах с себе подобными — человек оказывается перед выбором: либо полное недоверие к себе, при котором никаких воспоминаний не напишешь, никакого своего слова не скажешь (и которое опасно смыкается с неумолкающими нашептываниями страха — а что я, в конце концов,

знаю? куда суюсь?..), либо, напротив, уверенность в себе, которая в других условиях была бы непозволительна, а здесь необходима. Эта уверенность, эта авторитетность и категоричность переходят в постоянный навык ума, твердея с возрастом, потому что есть же еще и законы психологии. Такова ситуация «единственного свидетеля», вне которой обе книги Надежды Мандельштам поняты быть не могут. Когда достаточно твердо помнишь, что одинокая властность их тона не от хорошей жизни, отпадает охота иронизировать. Как, впрочем, и приукрашивать.

С другими нашими пророками — употребляю это слово без кавычек и в достаточно серьезном смысле, — изначально сформированными, как Солженицын, как Шаламов, тем же опытом «единственного свидетеля», у нас, в общем, схожие проблемы. В сравнении с масштабом их подвига проблемы эти вовсе не так уж значительны. Какие есть — мы не достойны и таких учителей. Бог послал нам их, смиловившись над нами воистину не по грехам нашим. Было бы, однако, лицемерием притворяться, что проблем нет.

Что касается Надежды Мандельштам, важно, что она на каждом шагу отталкивалась не только и не столько от сталинщины, сколько от ущербного либерализма 60-х. (Вот здесь, в оценке времени, когда «все были хорошие», я рад согласиться с Николаем Панченко.) Со сталинщиной, в конце концов, дело было более или менее ясное; когда начальство объявляло расчетам с ней очередное «отставить!», это было оскорбительно, однако на общественное мнение повлиять уже не могло. Опасность была в другом: как бы тема «нарушений социалистической законности», «лагерная тема» тож, не была канализована, хитро отведена в русло, отторгнута от больших логических связей и под разговором не была подведена жирная черта — на присущем тому времени фоне из комсомольской романтики, безупречно гуманного Ленина по Казакевичу и восторженной идеализации 20-х годов. (К слову сказать, критика 20-х у Надежды Яковлевны стимулируется именно контекстом 60-х.) Здесь важно подчеркнуть, что ущербность шестидесятилетнего либерализма была ущербностью прежде всего мировоззренческой; даже спор с официозом принимал навязанные им псевдоаксиомы, точки отсчета, мыслительные ориентиры и фундаментальные понятия, шел на официальном идеологическом жаргоне. Философские и религиозные интересы, широко распространившиеся в 70-е годы, для «оттепели» не характерны. Мысли тогда быстро переводились на уровень голой эмоции, настоятельно требующей гитарных струн и расstroганной затуманенности сознания; разъятость мыслительных сцеплений словно материализована в рваной

прозе мемуаров Эренбурга, побуждающей вспомнить его же строку: «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...» Вопрос о **целостном мировоззрении** в таких условиях становился вопросом из вопросов, более острым, насущным и запретным, чем все разгадывания секретов Сталина. Кто ставил его, прорывал паутину, в которой запуталась «оттепель». Одной постановки достаточно, чтобы заслужить благодарность последующих поколений. Но теперь мы должны трезво и ясно представить себе, в каком положении оказывался тот, кто начинал уединенную работу над выработкой целостного мировоззрения. Из рук официальной культуры, официальной науки, тем паче официальной псевдофилософии, даже в их самом что ни на есть «оттепельном» варианте, ничего нельзя было брать; профессионализм оказался подменен и тяжело скомпрометирован. Одна надежда — на «приватного мыслителя Иова», как выражался в свое время Кьеркегор. Что же, в Иовах недостатка не было. Но каждый такой приватный мыслитель оказывался сам себе и философом, и теологом, и экспертом по истории, и теоретиком государства и права, и арбитром по части эстетики и поэтики, не говоря о многом другом. Выбора у него не было: ему приходилось заниматься тем, и даже по преимуществу тем, чем его никто и никогда не учил заниматься. Надежда Яковлевна сказала бы, что ее учил Мандельштам; но ведь и он готовил ее к роли понятливой собеседницы и слушательницы стихов, не к работе по универсальному осмыслению проблем столетия. Брать на себя такую работу в таких условиях значит обрекать себя на дилетантизм; но отказаться от нее, видя всеобщую нужду в целостном мировоззрении, морально невозможно. Выше сил любого человека знать все. Но предмет целостного мировоззрения — именно «все». Если угодно, это вековая коллизия русской жизни, в которой дело институций должны перенять личности; вместо теологического факультета работает помещик Хомяков, а вместо философского факультета — романист Достоевский, так что с целостным мировоззрением дело обстоит куда лучше, чем с профессионализмом.

Надежда Яковлевна писала даже не романы, как Достоевский, а мемуары. Но если мы будем ожидать от ее книг того, что нормально ожидаем от мемуарной литературы, нам угрожает опасность быть очень несправедливыми — либо к ней, либо к ее персонажам, либо на обе стороны сразу. Ее сила — в изображении не конкретного, а общего, не внешнего, а внутреннего. Ее специальность — не столько факты, сколько атмосфера, окружающая факты. Она сумела исключительно удачно дополнить хотя бы того же Шаламова, автора в отличие от нее с

лагерным опытом, сила которого была в аскетичнейшем языке факта. Ибо одна задача — говорить о лагере как логическом пределе жизни целой страны, другая — рассказать о жизни страны, протекающей под таким знаком. В первом случае на первом месте сами обстоятельства, во втором — душевное и духовное состояние, порождающее эти обстоятельства и порождаемое ими. Чтобы психология выступила на первое место, порой даже нужно, чтобы обстоятельства отступили на задний план. Чтобы их экстремальность перестала отвлекать наше внимание.

«Мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда — без сучка и задоринки — с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-проводным в штатском, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, — так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, — страшнее, и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц».

Одна из наиболее ярких глав «Воспоминаний» — глава «По ту сторону», из которой взята эта цитата и в которой, собственно, ничего не Происходит, а просто время и пространство увидены глазами того, для кого ни времени, ни пространства больше нет — только неволя. «Конец мира». Сама Надежда Мандельштам называет это «робкой попыткой описать сдвиг сознания». Эта формула приложима, по сути дела, к ее творчеству в целом. Во «Второй книге» сразу после вводной главы идет глава «Потрава», в которой тоже ничего не происходит, — обрисованные в ней забавы киевской артистической богемы первых лет революции по видимости довольно невинны, даже милы (особенно для шестидесятнического вкуса к «раскованности»); лишь яростным напряжением покаянной интуиции в них и сквозь них увидено страшное духовное разрушение, сделавшее возможным, а значит, неизбежным все, что последовало. А перед этой главой автор высмеивал расхожие представления, согласно которым «субъект маленький, а объект большой, и от этого все качества». Ибо именно субъект совершает духовный выбор и тем открывает дверь, через которую приходит иное онтологическое состояние мира. Увидеть и описать события, беззвучно совершающиеся в самой глубине субъективности субъекта, — наиболее существенная задача обеих рецензируемых книг.

Биографическое в них всецело подчинено истории; о «катастрофической гибели биографии», о бытии людей, выброшенных из своих биографий, Осип Мандельштам сказал еще на пороге 20-х. Но история в свою очередь подчинена историософии. Это значит, что факт становится в лучшем для

него случае — симптомом, в худшем — метафорой чего-то иного. На книги Надежды Мандельштам, как на картины импрессионистов, надо смотреть издали, чтобы должным образом сливались мазки, положенные так, а не иначе ради передачи атмосферы. Глаз должен настроиться на уловление этой атмосферы, а не на попытку высчитать с точностью до миллиметра контуры предметов.

Примерно за сто лет до «Второй книги» были написаны «Бесы» Достоевского, ставящие и решающие схожую задачу духовной диагностики. Роман — не совсем роман, мемуары — не совсем мемуары; скорее уж два трактата по демонологии. Многие во «Второй книге» явно или неявно содержит оглядку на «Бесов», отсылку к ним, и это вполне в порядке вещей. Но сейчас я не об этом. После целого столетия споров мы пришли, кажется, к тому, чтобы видеть в романе Достоевского глубинную правду о духовных процессах, выразившихся в нигилизме, в нечаевщине и определивших нашу недавнюю историю. Правду, что называется, последнюю. Но «последняя» правда отнюдь не включает в себя автоматически «предпоследнюю»; их соотношение не так просто. Никому ведь не придет в голову изучать *фактическую* сторону хотя бы нечаевского кружка — по Достоевскому. Те, кто резко возражал против изображения в романе нигилистов, оказались не правы не потому, что их возражения на каком-то уровне были вовсе лишены смысла, а потому, что счет в романе идет на другие величины. Давно отшумели споры о том, не оклеветал ли писатель Грановского и Тургенева, хотя, по правде говоря, черты Степана Трофимовича и Кармазинова опознаются достаточно однозначно, так что спасительная функция «художественной условности» сведена к минимуму, если не к нулю. Невозможность редукции человеческого и литературного явления Ивана Сергеевича Тургенева к образу Кармазинова настолько очевидна, что на нее нелепо указывать; но всем ведь ясно, что образ Кармазинова, как он дан у Достоевского, абсолютно необходим как средство, чтобы высказать некоторую истину отнюдь не о Тургеневе, а о состоянии культуры. Жанр метафизического памфлета — особый жанр, со своими правами. Не стоит обижаться за людей, потому что «Бесы» — про бесов. Но книги Надежды Яковлевны тоже подчиняются скорее законам метафизического памфлета, нежели законам мемуарной литературы; они тоже «про бесов». Бесполезно возражать, что она не Достоевский, и даже не потому, что ведь и фигурирующий у нее Маршак не Тургенев. Нет, вопрос стоит нелицеприятно, как вопрос о принципах: либо мы уважаем права метафизического памфлета и в таком случае обязаны выносить суждение о

«Воспоминаниях» и «Второй книге» в соответствии с законами этого жанра, либо мы в принципе отрицаем эти права, и тогда никакое личное величие Достоевского не может заставить нас пересмотреть наш вердикт.

Возбуждать против Надежды Яковлевны тяжбы о добром имени X или Y — дело, которое я не могу признать для всех случаев столь заведомо предосудительным, как его признает Н. Панченко. Просто оно кажется мне по вышеизложенным причинам не имеющим смысла. Все равно что защищать Грановского от Федора Михайловича. Не имеет смысла и противоположное: считать, что с X или Y покончено после такого-то пассажа у нее, что некоему лицу вынесен окончательный приговор с той степенью окончательности, какая до Страшного Суда немыслима. У нее не надо искать исчерпывающих характеристик такого-то и такой-то. Счет идет на другие величины.

Так было, по существу, с самого начала. Но внутри поколения спор мемуаристов был неизбежен; как нереалистично и несправедливо было бы требовать от Тургенева, чтобы он смотрел на «Бесов» издали, не чувствуя себя задетым. Позднее, мне кажется, должен действовать спасительный принцип: младшие не вмешиваются в распри старших. Каково мое личное, эмоциональное отношение к конфликтным ситуациям наряду с умственной убежденностью в том, что суть дела внеположна им? Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден; в-третьих, человек, которого я знал и не мог не любить. Этого достаточно. А Эмма Григорьевна Герштейн? Выписываю из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны, что было сразу после ареста Мандельштама. «Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива». Вы понимаете — там, в тот час они были вместе; а нас там не было. Что в сравнении с этим все их конфликты? И я, тогда еще не родившийся, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них *против* другой? От души прилагаю к себе самому ахматовскую формулу: «Его здесь не стояло». Как будто я могу поручиться за себя, что в то страшное время нашел бы в себе силу войти с Эммой Григорьевной и Евгением Яковлевичем в зачумленный дом, поднять с пола опасные бумаги! Мы, пришедшие после, разве мы смеем отказывать в самом глубоком

уважении людям, которые хотя бы не переходили на противоположную сторону улицы, повстречав в Воронеже ссыльного поэта, и были ответом небес на его отчаянную мольбу о «читателе» и «советчике»? Не миновать отнестись таким же образом, например, к заносчивому полубезумцу Сергею Рудакову, который, по правде говоря, выглядит у Э. Герштейн ненамного привлекательнее, чем у Надежды Мандельштам, однако ведь был не только жертвой эпохи, достойной нашего сострадания, но и собеседником Осипа Эмилевича, вошедшим, худо-бедно, в сюжет его судьбы. Это не то что нам теперь после драки кулаками махать.

Есть только один вопрос оценок, в который я попытаюсь вмешаться. К этому у меня три основания. Во-первых, это не вопрос о «личностях» (в деликатном смысле старинного оборота «перейти на личности»), то есть не о том, порядочно или непорядочно вел себя некто десятки лет назад во вполне конкретной и как раз поэтому не реконструируемой ситуации. Во-вторых, речь идет о делах, которым Надежда Яковлевна была свидетельницей ненамного больше, чем мы: кое-что было увидено лишь совсем незрелыми глазами, и притом издали. В-третьих, мои возражения я излагал самой Надежде Яковлевне. (Когда я шел к ней для этого разговора, жена сказала: «Ох, выбросит она тебя в окошко». Я возразил, что из окна первого этажа падать невысоко. Выслушан я был с исключительной кротостью. Под конец было сказано: «Сергей Сергеевич, я недобрая».) Спорил я — о символистах. Более специально — о Вячеславе Иванове.

Для начала позволю себе несколько общих положений. Когда младший поэт отталкивается от старшего и «преодолеывает» его, это не манихейский конфликт добра и зла, не поединок святого Георгия со змием, а нормальная и здоровая форма преемственности. Для поединка избирается отнюдь не худший; что за честь одолеть худшего? Даже физическое тело не может оттолкнуться от другого физического тела, не имея с ним точек соприкосновения... История отечественной поэзии давно научила нас, до чего кровавым, интимным, глубоким было отталкивание Пушкина («победителя-ученика») от Жуковского («побежденного учителя»); и разве что сентиментально воспринимаемые биографические обстоятельства могут закрыть от современного любителя стихов, что Бродский отнюдь не «продолжает» Ахматову (на это недавно с полным основанием указала В. Полухина). Отнюдь не только юношеские письма О. Мандельштама Вяч. Иванову, но и все его более поздние высказывания свидетельствуют о содержательной и продуктивной амбивалентности, которая и является нормой в отношении

младшего к старшему: преклонение пенится и весело закипает враждой, но вражда насквозь прохвачена самым серьезным уважением. В дальнейшем действует следующий закон: младшие способны более адекватно судить о сравнительном масштабе старших, чем наоборот, и это не потому, что старшие глупее младших, а потому, что реальная иерархия в стане младших может быть определена лишь по законам их поэтической системы, которой еще только предстоит быть выявленной. Грубо говоря, старшие почти всегда «ставят» не на тех младших, и это тоже нормально. Нам не хочется в этом сознаваться. Такое искушение — сделать национальный миф из случайного эпизода на лицейских экзаменах, когда Державин на мгновение расплакался стариковскими слезами в ответ на упоминание его имени в юношеской строке Пушкина... Огорчительно, конечно, что символисты приняли на ура Сергея Городецкого, вместо того чтобы вовремя сообразить, кто именно будет славой русской поэзии в десятилетия, которые последуют за их уходом со сцены. Но разумно ли делать из этого, именно из этого, уничтожающий аргумент против ценности целой эпохи? А ведь во «Второй книге» мы встречаем подобное умозаключение. «Как могли так ошибиться символисты, люди, как принято думать, образованные... Встает еще один вопрос: действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению — нет». Боже сохрани, я вовсе не сторонник благодушно-эстетской идеализации «серебряного века». Но такая логика решительно не годится. Исходя из нее можно было бы предъявить претензии к Пушкину: зачем это он писал такую прочувствованную рецензию на какого-то Виктора Теплякова, но весьма прохладно отнесся к молодому Тютчеву? Или адресоваться к Осипу Мандельштаму: как он смел хвалить Адалис и не похвалить раннего Заболоцкого? В истории литературы таких «почему» слишком много, ибо она живет динамикой сдвига, поневоле обрекающей самых умных старших на непонятливость.

Мне в голову не приходит ограждать Вячеслава Иванова или тем паче символизм в целом от любых нареканий. Нарекания возможны, и притом самые разные — от эстетических до, скажем, религиозно-аскетологических. Но уже в фантазии Ахматовой образ Иванова далеко отошел от реальности; достаточно вспомнить, что она возлагала на него ответственность за все версии, оценки и репутации, имеющие хождение в русском зарубежье. Свое отношение к «соблазнителью», «ловцу человеков» Ахматова, как совершенно верно отмечает М. Поливанов в предисловии ко «Второй книге», эффективно передала Надежде

Яковлевне. (М. Поливанов цитирует ахматовские слова в передаче А. Наймана: «У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло».) А в уме Надежды Яковлевны оно уже беспрепятственно созревало почти до абсолютного, абстрактного неприятия, поскольку не наталкивалось в отличие от Ахматовой на опыт личного общения (не считать же того, что отец однажды взял ее на лекцию Вяч. Иванова, по собственным ее словам, «не то о Скрябине, не то о Метнере», а Осип Эмильевич в ее сопровождении нанес Вяч. Иванову визит в Баку).

Из остроумного замечания О. Мандельштама об особой роли символистов в формировании у большевиков представлений о том, кого из деятелей старой культуры стоит беречь, развивается тенденция возлагать на Вяч. Иванова личную ответственность за все несправедливости, испытанные Мандельштамом и Ахматовой от нового режима. Кстати, замечу, что символистам была в довольно высокой степени свойственна способность творить «каноны», то есть производить отбор и делать его результаты импонирующими вне их собственного круга. Мы мало отдаем себе отчет, что именно они раз и навсегда утвердили высокий статус, например, для Тютчева; да ведь и Достоевского окончательно канонизировала именно символистская культура. Можно нападать на их «учительство», на «ловлю душ», но без него торжество варварства в нашей стране было куда более полным и необратимым. Моральное зло я вижу только в самом положении, когда культуре предлагается выживать в особой резервации; любое распределение пропусков в эту резервацию, по символистским ли спискам или другим, будет несправедливостью. Но положение это было создано, как известно, отнюдь не символистами. А затем и резервацию упразднили за ненадобностью.^[1]

Не буду обсуждать формулировки, безоговорочно отлучающие Вяч. Иванова, да и символистов вообще, от христианства. Литературная критика не должна брать полномочий церковного суда; вполне достаточно сознаться, что поэты не богословы и, увы, не святые («И меньше всего благодать», — сказала о себе Ахматова); если, однако, они исповедуют себя христианами, приходится признавать их таковыми.

И на этом остановимся. С самыми главными словами в обеих книгах не поспоришь. Там, где говорится не о символизме, а о совсем, совсем других материях, слова очень весомы, ибо пропитаны опытом как биографическим, так и внутренним. Там

не только каждое слово, а каждое движение интонации — свидетельство.

Вот ведь как обстоит дело. Библейский, освященный древностью образ труб, от которых рассыпаются стены Иерихона, в применении к двум-трем голосам, зазвучавшим в свой час среди нашей жизни — солженицынскому, шаламовскому и этому, — может показаться неумным, неуместным. Пафоса мы нынче боимся, обжегшись на молоке, дуем на воду; может, так оно и лучше. Как ни странно, однако, самая трезвая, самая фактическая истина состоит в том, что стены Иерихона все-таки пали. Материализация этого события приходит с запозданием: это сегодня мы из газет знаем, что кусочек стены возможно пощупать, даже унести на память — достаточно съездить в Берлин. Однако в невидимой глубине все совершилось гораздо раньше: когда «Архипелаг ГУЛАГ», и «Колымские рассказы», и обе книги Надежды Яковлевны были написаны, когда мы их читали. А нынче мы переживаем эпилог.

Пусть читатель простит меня за то, что я, увлекшись разговором о самих произведениях, лишь скороговоркой скажу о труде издателей и комментаторов. Примечания к первой книге выполнены А. А. Морозовым, человеком, который с беспримерным бескорыстием отдал мандельштамоведению всю свою жизнь. Это настоящая исследовательская работа. Им же составлены приложения: подборка стихотворений О. Мандельштама, необходимых для понимания текста Надежды Яковлевны, и прекрасный указатель имен. Послесловие, написанное Н. Панченко, уже упоминалось. Необходимо отметить краткое, умное и красивое предисловие М. К. Поливанова ко «Второй книге» и его же примечания к ней.

Сергей АВЕРИНЦЕВ.

notes

Примечания

Как кажется, и Мандельштаму и Ахматовой не повезло по одной простой причине. Те, кто был старше их и стяжал себе имя в литературе задолго до революции, воспринимались как ходячие памятники культуры, по отношению к которым возможен был до поры до времени подход как бы музейный. Их «несозвучность» меньше раздражала, поскольку преклонный возраст и устоявшаяся репутация служили для их прегрешений смягчающими обстоятельствами. Им было заведомо поздно перековываться; а если они делали шаг навстречу новой идеологии, работал эффект контраста. Те, кто, как их ровесник Пастернак, не успел сделаться известным прежде революционной поры, могли восприниматься как поэты «советские», ибо пришедшие в литературу вместе с Октябрем (для чего принадлежность к футуристической компании годилась, разумеется, больше, чем к акмеистической). Хуже всего было — уже сложиться и стать известными перед революцией, но еще не обрести статуса маститых. Мальчишка и девчонка, но старорежимные мальчишка и девчонка; и то и другое — несообразно надолго, для Мандельштама — пожизненно. «Другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот» — как сказано в «Четвертой прозе». Само собой разумеется, что это обстоятельство не было единственным, даже главным; но сбрасывать его со счетов не надо. Во всяком случае, оно болезненнее, обиднее любой чисто идеологической травли, потому что никто не поймет и не посочувствует: если для новых хозяев жизни ты старорежимен, то для старой интеллигенции — несолиден.